



ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ

4

1939

УЧПЕДГИЗ НАРКОМПРОСА РСФСР • МОСКВА

Б. Я. БРАЙНИНА ВЕЛИКИЙ ГУМАНИСТ

(Повести и рассказы А. П. Чехова)

I

Все вместе и каждый в отдельности ответственны за общественное зло.

Равнодушные, холодность, вялость, бессилие души — самый опасный враг, мешающий жить. Люди страдают не от недоедания и мерзавцев, которых единицы, которых легко было бы уничтожить, а от равнодушных друг к другу. Мерзость, пошлость существуют потому, что с ними не борются, потому что нет достаточного сопротивления. Человек обязан быть горячим, сильным, обязан вмешиваться в жизнь, любить, несправедливо. Иначе — закрыты для него радости жизни, ждет его одиночество, ранняя старость, горькие упреки совести. Вот главное — о чем писал Чехов.

В 80-е годы, когда правительственная реакция старалась парализовать общественную жизнь, Чехов зазвучал призывом к протесту. Чехов показал подлинную сущность мелкого человека, прикрывающего свою дряблость и равнодушие красивой фразой, ссылкой на объективные условия. Не восемьдесят лет виноваты в лености и дряблости, а вялые и дряблые виноваты, что жизнь стала тюрьмой, что трудно дышать живому человеку.



А. П. Чехов

«Понимайте так, мол, — говорит один из героев «Дуэли», — что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат нераспечатанными и что сам он пьет и других спивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека. Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, где-то вне, в пространстве. И притом — какая штука! — распутен, лжив и гадок не он один, а мы... «мы люди восьмидесятих годов», — мы вялое, нервное общество крепостного про-

ва», «нас искалечила цивилизация...» Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Лавский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составили явление естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тут мировые, стихийные и что перед Лавским надо лампаду повесить, так как он — роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее».

Чехов не падит это хилое, золотушное, развращенное племя. Он срывает маску илюминиста-энтузиаста с ленивого, праздного и апатичного Сергея Сергеевича Лосева, способного только болтать и кривляться («У аномальных»). Срывается маска благородного само-

пожертвования и с тряпичной натуры Выхленова («Ниночка»). Его ничтожество, душевная тестообразность становится очевидной всякому.

Чехов знает, что, помимо Лаевских, Лосенных, Выхленовых, есть «равнодушные» люди совсем иного порядка. С ними еще труднее, потому что с внешней стороны это совсем «хорошие люди».

У Чехова есть рассказ, так и озаглавленный — «Хорошие люди». Литератор Лядовский пишет критические статьи, постоянно суетится, собирает деньги для больных литераторов, восхищается новыми талантами, умиляется, работает, читает — делает все, что полагается. Но Лядовский человек штампа, рутинер, он не способен на живое чувство, у него вялая, равнодушная, холодная душа. Поэтому никому не нужна его работа, его статьи, его разговоры, его благотворительность. Родная сестра оставляет его дом, чтоб никогда туда не возвращаться. Он умирает одинокий, никому не нужный.

Такой же «хороший человек» и Лидя Волчанникова («Дом с мезонином»). Она тоже ведет «безупречную» жизнь, заботится о постройке школ, больниц, обучает грамоте крестьянских детей, читает умные книги, презирует ленивых людей, оберегает свою сестренку Мисюсю от дурных влияний и пр. Но холодом и равнодушием веет от нее! Все, к чему она прикасается, становится серым, скучным, все никнет, теряет жизненную силу. Лидя разрушает счастье маленькой Мисюсю, портит ей жизнь и убеждена, что она совершает хороший, необходимый поступок. Она убивает чужое счастье спокойно, с гордым сознанием выполненного долга. И все оттого, что сердце у нее мертвое.

Еще одну разновидность «холодности» показал Чехов. Это люди, в сердцах которых еще тлеется огонек правды. Совесть мучит их, не позволяет жить спокойно. Сын миллионера Лаптев («Три года») казнит самого себя: «...у меня трусливая совесть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ее господином... Ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими ненамного ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городских, жандармов, я всех боюсь, потому что я рожден от затравленной матери, с детства я забит и запуган».

Миллионы не спасают Лаптева. Напротив, он был «уверен, что миллионы и дело, к которому не лежала у него душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба».

В таком же положении находится и земский статистик Огнев («Верочка»). После объяснения с нежной, поэтической девушкой «искренне сознался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которую так часто хвастают умные люди, не холодность себялюбивого глупца, а просто бессилье души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба, умеренной, бесемейной жизни».

В рассказе «Жена» вопрос становится еще резче. Холодному, рассудочному инженеру Асориному противопоставлена его жена Наталья Гавриловна, полная жизни, внимания, участия к людям. Между ними возникает единоборство. Побеждает Наталья Гавриловна. Чехов приводит Асориного к сознанию, что нельзя жить без тепла, без любви, что все его начинания, его работа (постройка моста) никому не нужны, потому что инженер Асорино «не любил ни людей, ни жизни; даже в счастливые минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушении и конечности, и потому, посмотрите, как у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти планы...»

И Лаптев, и Огнев, и Асорино сознают, что «если «время» виновато перед ними, то и они не в меньшей мере виноваты перед «временем».

Это противоречие, эту диалектику жизни Чехов с особенной силой показал в «Скучной истории». Герой «Скучной истории» — ученый с мировым именем. В крупном человеке и недостатки, и сознание этих недостатков острее, сильнее, болезненнее.

Герой «Скучной истории» доживает свой век с мучительным сознанием своего одиночества, своего морального краха. И все оттого, что у него не хватало любви, любви всеобъемлющей, настоящей. Он действительно читал лекции, он любил науку, он знал, что наука — «самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни». А люди, а жизнь уплывали куда-то. Полнокровная, живая жизнь вращалась стороной. Профессор говорит самому себе: «Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека».

А коли нет этого, то, значит, нет и ничего.

При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде

считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. Ничего из этого поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета».

Эти слова профессора вскрывают потаенные причины «холодности». Отсутствие живой идеи «блага живого» в человеческом сердце приводит к равнодушию. А равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть.

В дальнейшем своем творчестве («Припадок», «По делам службы») Чехов прямо ставит вопрос об ответственности интеллигенции за общественное зло. Человек не имеет права на покой и счастье, если общественный порядок таков, что многие живут в нищете, терпят человеческий облик, страдают, пускают себе пулю в лоб.

Абсолютно неверно довольно распространённое утверждение, будто бы эпоха восьмидесятых годов обескрылила, смирила Чехова. Она заставила его покорно грустить, сделала его «летописцем вздохов». Чехов всем своим творчеством боролся с нытиками, вздыхателями, с теми, кто хотел грустить и покоряться. Своими произведениями он говорил интеллигенции: «Вы, все вы виноваты, что жить плохо. Вы обязаны изменить жизнь. Вы ответственны перед народом. Горе народное лежит на вашей совести. Перестаньте ныть и вылахать! Беритесь за дело».

Замечательен рассказ «По делам службы». Следователь Лыжин, вызванный в глухую деревню расследовать дело о самоубийстве страхового агента Лесницкого, «чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат на его совести... Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за кулисами, с досадой или усмешкой, но к которым не идут на помощь...»

Тема о «равнодушии» и об «ответственности» нашла свое законченное, совершенное выражение в замечательном рассказе последнего периода — «Крыжовник». В этом маленьком рассказе столько больших вопросов, столько глубины и смысла, что для менее гениального мастера было бы совершенно невозможно уложиться в узкие рамки рассказа. Сдержанность и особая чеховская «страстность», убежденность, искренность здесь даны свое изумительное, точное, полное выражение.

В «Крыжовнике» показан паралич души. Перед нами — духовно мертвый человек. Вернее, чиншник Чимша-Гималайский — уже не человек. Это — сытое двуногое животное. Всего несколькими штрихами он обрисован. Но какая сила, какая беспощадность приговора: «Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочет ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, того и гляди хрюкнет в одеяло».

Равнодушие превращает жизнь в свиной закуток.

Ветеринарный врач Иван Иванович рассказал жуткую правду жизни о том, как брат его из человека превратился в животное. Иван Иванович — патрист, он любит свою страну, он думает о том, как «велика и прекрасна эта страна». Он верит в свой народ. И когда он призывает к протесту, к тому, чтоб изменить жизнь, чувствуется будто это он просит «лично для себя». А за словами Ивана Ивановича слышится спокойный и в то же время непоколебимо крепкий чеховский голос: «Вы взгляните на эту жизнь: иглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улице тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмущаясь... Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого, человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стучком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потеря, и его никто не увидит и не услышит, так теперь он не видит и не слышит других... Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молод, силен, бодр, не уставайте делать добро!»

II

Максим Горький писал о Чехове: «Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и строгого судью».

Ненависть Чехова к пошлости вытекала из его горячей веры в человека. Человек должен, обязан быть честным, красивым, гармоничным. Для Чехова, как и для Горького: человек — это звучит гордо.

Пошлость — результат равнодушия, холодности.

Когда мерзость и равнодушие входят в привычку, перестают ощущаться, тогда наступает пошлость. А в привычку они входят там, где вся система общественных отношений способствует этому. Безошибочно Чехов анализирует самую глубину явлений: «Мерзость коммукает и режет глаза,— читаем в рассказе «Холодная кровь».— только там, где она случайна, где ею нарушается порядок, здесь же, где она, мое вам почтение, составляет давно заведенную программу и входит в основу самого порядка, где каждая шпала носит ее след и издает ее запах, она слишком скоро входит в привычку».

Почти в каждом рассказе Чехова есть персонаж, который голосом самого автора, падая на пошлость, с гневом и болью говорит о бессердечии, о кощунстве над человеком.

У Ольги Михайловны («Именины») растет ощущение окружающей пошлости. «Все, казалось ей, бездарны, бледны, недалеки, узки, фальшивы, бессердечны (подчеркнуто мной.— Г. Б.), все говорили не то, что думали, и делали не то, что хотели. Скука и отчаяние душили ее».

Та глухота к человеческому страданию в соединении с отвратительным самодовольством особенно резко и полно выражена в образах обывателей из «Моей жизни». Семья Аношиных, Чепракова, архитектор Полознев — все эти люди, в представлении protagonista Мисаила Полознева, грубы до изумления, они «глухи, жестоки, ленивы, невежественны», они «поколениями читают и слышат о правде, о милосердии и свободе, и все же до самой смерти друт от утра до вечера, прогоня друг друга, а свободы боятся, и ненавидят ее, как врага».

Калейдоскопический образ пошляка, где сердечная глухота соединяется с таким гипертрофированным самодовольством, что даже собственное ничтожество радует и льстит — архитектор Полознев.

Что может быть убийственней такой характеристики: «Взгляни на небо! Звезды, даже самые маленькие, — все это миры! Как ничтожен человек в сравнении со вселенной!» И говорил он (архитектор Полознев.— Г. Б.) таким тоном, как будто ему было чрезвычайно интересно и приятно, что он так ничтожен».

У Чехова надо учиться показывать чело-

века всесторонне, не схематизируя, не упрощая, не разделяя то, что неразделимо. У Чехова не было двух тем: о личном и общественном. Была одна тема: о человеке. Пошляк везде пошляк — и в семье и на людях. Человек должен быть счастлив. А счастлив он может быть тогда, когда живет всем существом, когда работает мысль его и горит сердце. У Чехова долг и сердце не противостоят друг другу: сердце должно быть умным и совестливым, а долг — непосредственным долгом сердца.

Если нет этой гармонии, «личное счастье» перестает быть «счастьем». Оно превращается в пошлость, от которой надо бежать, бежать без оглядки. Молодой учитель, «Учитель словесности», женится по любви. Он мечтает о красивой, радостной жизни. Но вместо этого попадает в омут пошлости. Ему становится ясно, что «кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир... И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать... Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны».

Но далеко не все могут противостоять пошлости. Пошлость опасна своей заразительностью, это своего рода нравственная чума, зло, с которым надо бороться решительно, всеми средствами.

О том, как пропадает человек, гибнет в болоте пошлости, рассказал Чехов в одном из лучших своих рассказов, в «Ионыче». Во всей мировой литературе мы не найдем такого произведения, где буквально на нескольких страницах развернута целая человеческая жизнь, страшная трагедия человека, гибнущего в омуте извращенных общественных отношений. Рассказ страстен, напряжен, и в то же время плавлен, спокоен. Ясные, четкие линии, простые, строгие фразы усиливают впечатление, создают ту решительность приговора, за которую Горький назвал Чехова «жестоким и строгим судьей» пошлости.

Весна. Праздник. Молодой земский врач Старцев отправляется пешком в город. Ему радостно и хорошо. Он надевает: «Когда еще я не шел слез из чашки бытия». Старцев хочет жить, работать, любить. К себе в Дялиж он возвращается почти влюбленный. «Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не

чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать...

Сколько жизнерадостности в этом молодом лемском докторе! Когда он по злой шутке любимой девушки попадает ночью на кладбище, даже содержание смерти, этой тяжкой обиды, постоянно наносимой человеку матерью-природой, не отравляет его радости. Напротив, ему... хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

Следующая глава начинается простой фразой: «Прошло четыре года». За эти четыре года от прежнего Старцева почти ничего не осталось. Обывательская пошлость убивает в нем душу. «Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него нескоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставлял в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусывать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал...»

Вот как характеризует сам Старцев эту подлость своей жизни: «Старимся, ползем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем пажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых и терпеть не могу...»

Новая глава начинается такой же фразой, как и предыдущая: «Прошло еще несколько лет». За эти годы святое чувство недовольства исчезло, Старцев превратился в безразличного пошляка стяжателя. «У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть именные и два дома в городе, и он обдобривает себе еще третий, повыгод-

нее, и когда ему в «Обществе взаимного кредита» говорят про какой-нибудь дом, предназначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот».

Не случайно Ионыч становится стяжателем. Для Чехова было несомненно, что пошлость, этот нравственный маразм, — результат всей системы капиталистических отношений. В «Ионыче» социальная сущность пошлости особенно ясно видна.

Пока в Ионыче горел живой огонек интереса, внимания к людям, он жил, как подобает человеку. Погас огонек, и место живого человека занял пошляк, даже во внешнем облике утративший подобие человека. Денег, пажива, становится единственным двигателем его существования. Рабы быта и паживы убили живую душу в Ионыче, а он, более предприимчивый и одаренный, чем они, становится в свою очередь более удачливым и бесцеремонным стяжателем. Такова логика жизни в обществе, где «человек человеку — волк».

Чехов прекрасно видел эту «логику», эту зоологическую мораль капиталистического общества. Недаром двумя годами раньше «Ионыча» он писал в «Моей жизни»: «Крепостного права нет, но зато растет капитализм. И в самый разгар освободительных идей так же, как и во времена Батюга, большинство кормит, одевает и защищает меньшинство, оставаясь само голодным, раздетым, беззащитным».

Чехов ненавидел капитализм, осудил его жестко, безоговорочно. Чехов показал, что капитализм ведет человечество в тупик, к полному моральному и физическому разложению. Капитализм раздает все живые ткани человеческого мозга и тела. В рассказе «Случай из практики» фабрика представляется Чехову «чудовищем с багровыми глазами», «дьяволом», от которого гибнут и эксплуатируемые и эксплуататоры.

Эта ненависть к капитализму продиктовала Чехову его крестьянские повести. Известно, что «Мужики» и «В овраге» нанесли серьезный удар народническим взглядам на крестьянство.

«Времена Батюга», капитализм прочно, верно, неумолимо разрушает народную жизнь, отдаст миллионы людей на съедение кула-

нам, фабрикантам, скушникам, правительственным чиновникам.

В «Мужиках» есть одна деталь, очень простая, сдержанная. Николай Чикильдеев приезжает с женой и дочерью в родную деревню. «Из взрослых никого не было дома, все спало. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немая, равнодушная; она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась о ноги белая кошка.

— Кис, кис! — помянула ее Саша. — Кис!

— Она у нас не слышит, — сказала девочка. — Огляхла.

— Отчего?

— Так. Побили».

Равнодушный, немой, одинокий ребенок и глухая от побоев кошка — вот страшные символы бессмыслицы, тупой, равнодушной, почти автоматической жестокости, которая вошла в жизнь верно, прочно, до конца незаметно, как входит привычка. Одной этой деталью рука великого художника подвешивает смертный приговор всей системе общественных отношений капиталистической действительности.

А между тем до сих пор существуют тенденции навязывать Чехову либеральное отношение к жизни. Чехов никогда не был либералом. И Горький во всех своих высказываниях о Чехове, как бы желая оградить имя великого писателя от всякой ложной шелухи (в том числе и от обвинений в либеральности), подчеркивает решительность, принципиальность приговора Чехова над жизнью.

О «Мужиках» Горький пишет: «До Чехова дворянская наша литература любила и прерасно умела изображать крестьянина человеком кротким, терпеливым, влюбленным в какую-то надземную «христову правду», которой нет места в действительности». Иную картину даст Чехов. В «Мужиках» и других своих рассказах Чехов обрисовал крестьянина и жизнь деревни без всяких прикрас, так, как она есть на самом деле.

Благодушный мечтатель и лирик исчез, появились дикие, пьяные и страшные «Мужики» Чехова».

По Горькому, Чехов был «жестоким и строгим судьей» своего времени. Только так мы и понимаем Чехова.

III

Смысл чеховского творчества весьма наглядно раскрывается в отношении Чехова-художника к толстовству.

Чехов писал о себе: «...толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6—7, и действовали на меня не основ-

ные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует: расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и чистоте любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса».

Возможно, что страстность, убежденность толстовской манеры выражаться влияла на Чехова, но о том, что основные положения толстовства по-настоящему не заделали Чехова, говорит все его творчество.

Можно отметить лишь два небольших рассказа («Ничий» и «Встреча»), написанные под непосредственным влиянием толстовства. Самые же крупные рассказы и повести 90-х годов и более позднего времени («Дом с мезонином», «Моя жизнь», «Палата № 6», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Невеста») по существу — непримиримая полемика с толстовством, а также с идейно близкими толстовству теорией «малых дел» и культуртрегерством.

Можно смело сказать, что влияние толстовства на Чехова было ничтожно, а его критика философии непротивленства была последовательной и беспощадной, ибо корни толстовства Чехов видел в столь ему ненавистной «слабости души», в лени, в равнодушии к человеку.

Все, о чем говорится, все, что происходит в повести «Моя жизнь», — сопротивление мечтательным идеалам реакционной эпохи, идеалам, которые звали к покою, к примиренчеству, которые расслабляли ум и волю, вытравляли из сердца пафос и благородство. Мисаил Полознев в своем толстовстве, «спрошенни» оказался «лишним», никому не нужным человеком, «маленькой пользой», никого не радующей. Маша Должикова (а за ее словами слышится голос самого Чехова) говорит ему: «Мы много работали, много думали, мы стали лучше от этого, — честь нам и слава, — мы преуспели в личном совершенстве; но эти наши успехи имели ли заметное влияние на окружающую жизнь, принесли ли пользу хотя кому-нибудь? Нет. Невежество, физическая грязь, пьянство, поразительно высокая детская смертность, — все осталось, как и было... Очевидно, мы работали только для себя и широко мыслили только для себя... если ты работаешь, одеваешься и ешь, как мужик, то ты своим авторитетом как бы узаконяешь эту их тяжелую, неуклюжую одежду, ужасные избы, эти их глупые бороды... С другой стороны, допустим, что ты работаешь долго, очень долго, всю жизнь, что в конце концов получаются кое-какие практические результа-

ты... что они могут против таких стихийных сил, как гуртовое невежество, голод, холод, вырождение? Капля в море! Тут пужны другие способы борьбы, сильные, смелые, скорые! Если в самом деле хочешь быть полезен, то выходи из тесного круга обычной деятельности и старайся действовать сразу на массу!»

В «Палате № 6» критика эпохи подымается на высоту подлинного трагизма.

Честных, умных людей сажают в сумасшедший дом, потому что жизнь опошлена, замордована до последнего предела. Какой несправедливостью, издевательством над человеком звучит в этих условиях проповедь непротивленства, внутреннего самоусовершенствования и пр.

Жизнь искажена, искалечена, — не жизнь, а какой-то скверный пасквиль на жизнь.

Из сумасшедших домов, из больниц, из тюрем рвется протест, иступленное противление непротивленству, всей этой «философии», которая по существу — «не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь...»

Человек противится злу, потому что не может не противиться, потому что это единственное, что должно и можно сделать, чтобы остаться человеком.

«Палату № 6» равнодушно читать было нельзя. Рассказ потрясал умы и сердца. Он должен был разбить всякие иллюзии о благополучии, о возможности самоуспокоения.

«Человек с молоточком» упрямо, неумолимо встал у дверей и звал «перевернуть жизнь».

И каждый новый рассказ с новой силой бил по «непротивленству», звал «перевернуть жизнь». Не через тысячу лет, не через сто лет, не «постепенно», а круто, решительно, теперь же.

«...во имя чего ждать? — спросил Иван Иванович, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законности явлений, но есть ли порядок и законность, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам, или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!»

Чехов в силу целого ряда обстоятельств, в том числе, может быть, и по особому характеру своего таланта, не изображал положи-

тельных героев. А между тем критики systematically искали у Чехова положительного героя. И получалось, что ветеринарный врач Иван Иванович из «Крыжовника» способен лишь на пассивный протест, а значит и сам Чехов, хоть и протестует, но не «активно». Или Маша Должикова и Мисаил Половинкин опять-таки протестуют, но выхода не находят, следовательно, и сам Чехов этого выхода не видит.

Отождествлять Чехова с его героями нельзя, ибо мы не знаем ни одного героя, которому бы Чехов до конца «доверил» свое отношение к жизни. Устами того или иного персонажа Чехов высказывает свои «требования», но тут же с помощью своего замечательного юмора начинает «снижать» героя. Оказывается, что «требования» эти серьезнее, глубже, сложнее тех ресурсов, которыми располагает тот или иной персонаж. Это «критическое» отношение к «возможностям» героя — тоже своего рода «человек с молоточком», заставляющий думать, искать выхода, повышать требовательность.

Не за отдельными персонажами, а за логикой образов всего произведения следует искать чеховский «приговор о жизни» и чеховское «требование к жизни».

IV

Легенда о равнодушии, холодности, индифферентизме Чехова была широко распространена. По существу до сих пор, вопреки очевидности, вопреки фактам, она еще гуляет по белу свету.

В наше время П. И. Лебедев-Полянский повторил Скабичевского и Шулятикова, утверждая, что Чехов «отрицал искусство идейное, гражданское».

Особое возмущение вызывает работа А. Дермана «Творческий портрет Чехова». А. Дерман старается убедить, что Чехов был равнодушен к людям, холоден, безучастен. «Дисгармония в природе Чехова, — пишет А. Дерман, — состояла в том, что при умном и обширном и поразительно ясном он был наделен молчанием сердца, — слабостью чувств любви». Шестнадцатилетний Чехов в письме к брату Александру пишет, что после чтения «Хижины дяди Тома» у него было неприятное ощущение, которое чувствуют «смертные», «наевшись не в меру изюма или коринки». Дерман делает вывод: «К лейкинской юмористике лежала душа юноши-Чехова, а изображение мучений дяди Тома его не трогало». Чехов пишет по поводу смерти одного хорошего знакомого: «Марии Владимировне желаю от всей души скорейшего выздоровления и

душевного покоя. Хотел бы написать ей письмо по расчету Владимира Петровича, которого я любил, но меня остановило соображение, что все мы умрем так же, как и Владимир Петрович, и что никакие соболевизмания и соболевизмы не помогут там, где дело неоправдимо. Не воскресить ведь». Дерман делает вывод о «дефекте души» Чехова, о неспособности Чехова сочувствовать людям.

Чехов в «Острове Сахалине» говорит о «японской вежливости» и в качестве примера приводит токаря-японца, из вежливости хвалявшего русским офицерам все русское. Исследователь и это использует для доказательства «холодности» Чехова. «Он (Чехов. — В. Б.), — читаем в книге Дермана, поступал точно так же и умел сказать тому или иному человеку: «Какая прочная вещь», «Какая мужественная манера», «Какая женственность»; он так же не лгал, а говорил безучастно приятные вещи, называя дураков ангелами и т. п.». Даже поездку на Сахалин А. Дерман объясняет жадой Чеховым «сильных ощущений», «поисками» того, что «смогло бы пробудить его сердце».

Но Дерману, своим художественным творчеством Чехов всемерно борется со своей «внутренней дисгармонией», происходящей от «холодности сердца. Проблема «холодного человека» в произведениях Чехова, «анализ душевного бессилия» — все это якобы результат борьбы с холодностью в самом себе.

«Как известно, — пишет Дерман, — Гоголь, вставший в себе черту «хлестаковщины», ничем не походил на Хлестакова ни в смысле внешних черт, ни в смысле похождения, в которых раскрывалась хлестаковская природа его героя, хотя одним из стимулов для создания последнего как раз и служило стремление автора объективировать свою «хлестаковщину». Точно так же и Чехов разглядывал свою «холодность в самых различных воплощениях, порой награждая ею таких своих героев, которые во всем решительно, кроме холодности, являлись полной его противоположностью».

В угоду схеме зачислен в категорию «холодных» великий писатель, который всю жизнь самоотверженно боролся с равнодушием, который так любил людей, что чувствовал себя лично ответственным за общественное зло. Конечно, не жадая «сильных ощущений», а это чувство ответственности погнало Чехова на остров Сахалин. Перед поездкой на Сахалин он пишет Суворову (1890 г. 9 марта): «Сахалин — это место вечных страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину,

мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку... Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сплюли в тюрьмах миллионы людей; сплюли зря, без раскаяния, варварски: мы топили людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных краснокожих смотрителей».

Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое несылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионы.

«Какое наслаждение уважать людей!» — написал Чехов в своей записной книжке. И если пошлость и мерзость жизни вызывали у Чехова отвращение, почти личную боль, то доброта, благородство, достоинство человека восхищали его до энтузиазма.

Один французский ученый с полным правом сказал о Чехове: «...благородный энтузиаст, мечтающий о том, чтобы всех избавить от страданий, всем вернуть здоровье и нравственное достоинство».

Когда в 1888 г. умер известный путешественник Н. М. Пржевальский, Чехов пишет, что люди, подобные Пржевальскому, «нужны как солнце», что «по тем путям, где проходят они, народы составляют о них легенды». «Их личность — это живые документы, указывающие обществу, где, кроме людей, ведущих споры об оптимизме и пессимизме, нишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и душевные диссертации, развращающих во имя отрицания жизни и лгуных ради куска хлеба, что, кроме скептиков, инстинктов, психопатов, иезуитов, философов, либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка, — люди подвига, веры и ясно осознанной цели». В 1895-м году Чехов восторженно пишет об юбилее профессора-общественника А. И. Чупрова: «Юбилей Чупрова прошел удивительно. В нем цествовали чистота, и энтузиазм был всеобщим... И находит, что масса тяготеет к порядочности и жадно набрасывается на нее со своими ласками при первой возможности». В последние годы жизни Чехов записал в своей записной книжке: «Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, которая честно мыслит, чувствует и умеет работать».

Передовую, прогрессивную интеллигенцию, чистую, честную, умеющую бороться и работать, Чехов любил крепкой, личной любовью. И мыслями, и чувствами, и делами он был с нею. Чехов очень крепок, определен был и в своей любви и в своей ненависти. И нет ничего удивительного, что почти в то же время, когда

Он писал о своей вере в прогрессивную интеллигенцию, он признался в своем отвращении ко всякого рода двурушникам и лицемерам. Так, в 1899 г. он пишет: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр».

Свое внимание, свою любовь, свое уважение к человеку, свою вражду к рутине, к пошлости, к ханжеству, к лицемерию Чехов выразил не только в своих гениальных повестях, рассказах и драмах, — об этом же говорит и все его жизненное поведение. Жизненный путь Чехова безукоризнен с начала и до конца. Он всегда был гостеприимен, ласков, доступен всем, кому была в нем нужда. Став известным писателем, окруженный поклонением и почетом, он также был прост и демократичен, как в годы своего студенчества, или годы работы в «Стрекозе» или «Будильнике». Он брался за любую общественную работу, если считал ее полезной, необходимой. Ни материальные затруднения, ни тяжелая болезнь не останавливали, не прерывали этой исключительной заботы, внимания великого писателя к человеку. Всем известна его работа среди крестьян в мелиховский период, его поездка на Сахалин, где, ведя перепись населения, он вставал в 5 час. утра и ложился поздней ночью, его неустанная забота об улучшении быта туберкулезных в Ялте, когда сам он стоял на краю могилы.

Трудно найти более стойкого и ревностного в своей любви к людям человека! Каким-то великим парадоксом представляются разговоры об индифферентизме, антигражданственности, холодности Чехова!

Не редко для доказательства этой «безучастности» приводят знаменитое письмо Чехова к Плещееву (1888 г., 4 октября): «Я не либерал, не постепенец, не монах, не индифферентист. Хотел бы быть свободным художником и — только, жалею, что бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних купеческих домах и кутузках: я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Мое святое святое — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы

последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником».

Где же здесь «безучастие», аполитизм, антигражданственность? Это письмо — страстный протест против лжи, насилия, фарисейства, тупоумия, произвола, косности, рутинных во всех видах и проявлениях. Протест крепкий, безоговорочный. Но здесь же и положительная программа: вдохновение, любовь, свобода, ум, талант, здоровое человеческое тело. Разве под таким девизом в конце 80-х годов не подписался бы Максим Горький? Разве его «Макар Чудра» — это не протест против лжи и фарисейства, с одной стороны, и преклонение перед достоинством свободного человека — с другой? В письме к Плещееву Чехов особенно подчеркивает это свое желание абсолютнейшей свободы, может быть, намеренно заостря положение, перегибая палку. Чехов слишком хорошо видел фарисейство и ложь во всей структуре тогдашней жизни. Он видел торжествующую пошлость и в редакторском кабинете, и в ученом заседании, и в столичном литературном салоне не менее ясно и отчетливо, чем в обывателях провинциального городка или в сонном покое холостной усадьбы.

В. Ладыжинский в своих воспоминаниях, относящихся приблизительно к 1890-му году (т. е. перед поездкой Чехова на Сахалин), передает слова Чехова:

«Ее (каторгу. — Б. Б.) надо видеть, непременно видеть, изучить самому. В ней, может быть, одна из самых ужасных нелепостей, до которых мог додуматься человек со своими условными понятиями о жизни и правде» (подчеркнуто мной. — Б. Б.). Против этих-то условностей и протестует Чехов в своем письме к Плещееву. Он требует свободы, абсолютнейшей свободы от «условностей», которые цепями лежат на человеке, уродуют его душу и тело.

Наряду с громадным чувством любви, неограниченной способностью сердца к сочувствию в Чехове жила редкая скромность, какая-то особая деликатность, стыдливость в выражении своих чувств, органическое отрицание к позе и сентиментальности. Это и создало особый стиль чеховской художественной манеры, особый стиль всего его психического облика. Будучи по природе очень чувствительным, он прикрывает свою чувствительность юмором, чтобы не казаться сентиментальным. Он постоянно сдерживает свои страсти, чтоб не быть напыщенным, чтоб случайно не сказать больше, чем говорит его сердце. Чехов лучше промолчит, чем скажет лишнее, и скажет всегда меньше, чем чув-

ствует. Вот почему почти во всех своих письмах он чуть-чуть посмеивается над самим собой, как бы одергивает себя шуткой. Может быть, эта его особенность и принималась некоторыми за холодность. Чехов не любил и не умел говорить торжественные тосты на юбилеях, не умел произносить трогательные надгробные речи или писать прочувственные, утешительные письма. И всем, кто не понимал этой особенности его характера, он очень метко ответил своим письмом к писательнице Авилловой (1898): «Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потемки». Что же другое мог ответить сдержанный Чехов тем, которые не в состоянии были понять сложность человеческих чувств, для которых чужая душа — потемки».

Гражданственность Чехова вытекает из самых основ его ума и сердца, — из его темперамента, из всего склада его натуры. Ни одно явление жизни не проходило мимо него. Он смело смотрел в глаза жизни. Он умел защищать и защищаться.

«В его серых, грустных глазах, — говорит Максим Горький, — почти всегда искрилась тонкая язвешка, но порой эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задумчивый голос звучал тверже, и тогда мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может стать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей».

V

Долго и упорно говорилось о пессимизме Чехова, одного из наиболее жизнелюбивших, оптимистических писателей. Известный биограф А. П. Чехова, А. А. Измайлов, называет Чехова «грустным певцом сумеречной эпохи, певцом красивой русской тоски, безотчетной нашей печали».

За «безотрадный пессимизм» карал Чехова Струве, Иванов-Разумник писал, что Чехов в восьмидесятых годах был беспросветным пессимистом, причем пессимизм этот лежал не в настроении, а гораздо глубже — в мироощущении».

В наше время о «безнадежном пессимизме» Чехова писал П. И. Лебедев-Полянский, а В. Эйхенбаум в своей работе «О Чехове» сообщает: «У Чехова, как у эпигона реализма, был своеобразный уклон к аскетизму», все «плотское» противно Чехову».

Между тем Чехов — жизнелюб от начала до конца своего творческого пути. Об этом свидетельствует и он сам и его современ-

ники. «Антон Павлович был самым большим оптимистом, какого мне только приходилось видеть», — говорит К. Станиславский. Сам Антон Павлович утверждает: «Я — человек жизнелюбивший».

Жизнелюбие Чехова вытекала из большого чувства патриотизма, веры в свой народ и в свою родину. Характерна повесть «Степь», написанная в 1888 г., а ведь в 80-е годы были многие заражены пессимизмом.

Описание степи полно утверждения жизни, страстной жажды жить, страха утратить хоть одно мгновение. В природе чудится «что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское», навевающее «сказочные мысли» о богатырских конях, о широко шагающих громадных людях, вроде Ильи Муромца и Добрыни Никитича; кажется, что эти богатыри существуют, что они еще не вымерли на Руси. Описание степи — страстный, лирический гимн «прекрасной и суровой родине». «Попадется на пути молчаливый старик-курган, или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей».

Настоящие люди, рожденные степью, взлелеянные широким простором ее дорог, красотой и величием ее преданий — это простой народ — подвиги и гневный, протестующий еврей Соломон. Человеческое достоинство, сердце, способное чувствовать, алчущее правды, только у этих людей. Они — подлинные хозяева степи, а не кружные и мелкие хищники, возмущаемые купцом Варламовым. Эти хищники удушили красоту и величие жизни, расхищали, опустошили сокровищницу человеческого счастья и радости, устроили так, что «богатство и вдохновение гибнут даром для мира». Вот почему еврей Соломон в знак протеста сжигает свои деньги. «Мне не нужны, — говорит он, — ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней нашего Варламова и больше похож на человека».

В следующем году Чехов пишет рассказ «У знакомых» (1889). Герой рассказа Подго-

рин побывал у знакомых в усадьбе. Он видит неминуемый крах уютного, поэтического дворянского гнезда. Но ему не жаль ни гнезда, ни обитателей. Новых, более совершенных форм жизни, новых людей жаждет его душа. И Подгорин уверен, что это новое наступит, что он живет накануне.

Чем дальше, тем все сильнее и сильнее звучит у Чехова призыв к жизни, уверенность в творчестве нового, вера в будущее. В повести «Три года» (1895) хилому, несмелому, безвольному Лаптеву противопоставлен жизнерадостный, гармоничный, уверенный в себе педагог Ярцев. К Ярцеву тянутся все недоумевающие, растерянные, не умеющие жить; в его обществе, согретые лучами его оптимизма, они оттаивают, отдыхают душою. В повести Ярцев — единственный положительный герой, логика образов повести говорит, что настоящая правда, выход в том пути, который указывает Ярцев. «Как богата, разнообразная русская жизнь — восклицает он. — Ах, как богата! Знаете, я с каждым днем все более убеждаюсь, что мы живем накануне величайшего торжества, и мне хотелось бы дожить, самому участвовать. Хотите верить, хотите нет, но, по-моему, подрастает теперь замечательное поколение... Я вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать...»

В любимом рассказе Чехова «Студент» (1894) оптимизм торжествует над неверием. Рассказ заканчивается размышлениями героя о том, «что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле».

Критикам, упрекающим Чехова в пессимизме, хорошо ответил он сам: «А какой я пессимист? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент»... И слово-то противное «пессимист»... Нет, критики еще хуже, чем актеры, на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества».

Если говорить об основном противоречии Чехова, то это противоречие, нам представляется, вытекало из столкновения его ясного оптимистического, жизнерадостного мироощущения с мраком и подлостью российской действительности. Любовь к жизни, большое доверие к человеку заставляло Чехова грустить, скорбеть о несовершенстве жизни. Чем больше накапливалось этой любви, тем острее

и напряженной становилась печаль. Может быть этим и объясняется парадоксальная фраза в его письме к А. А. Хотьяниной (1897): «Чем веселее мне живется, тем мрачнее выходят мои рассказы».

Очень характерны в этом отношении слова одного из персонажей «Рассказа неизвестного человека»: «Чтобы чувствовать себя свободным и в то же время счастливым, мне кажется, надо не скрывать от себя, что жизнь жестока, груба и беспощадна в своем консерватизме, и надо отвечать ей тем, чего она стоит, то есть быть так же, как и она, грубым и беспощадным в своих стремлениях к свободе». Чехов никогда не жил иллюзиями. У Чехова всегда хватало душевной силы, внутреннего достоинства, чтоб сказать правду о жизни. Его оптимизм чужд всякой выспренности, торжественности, патетики. А разного рода лакировка, сюсюканье вызывали в нем чувство безразличия и отвращения.

Оптимизм Чехова был выстрадаанным, был завоеван в бесстрашной схватке с российской действительностью, с упадком и вялостью, пошлостью и отступничеством, характерными для известной части интеллигенции восьмидесятых годов.

Вера в будущее, социальный оптимизм Чехова был органичным, основным в его мироощущении. И совсем не так характерны для Чехова высказывания доктора Астрова; вера в целом ряде его рассказов вера в будущее ощутима, реальна, и будущее это не за годами, не за тысячелетием, а где-то очень близко, почти накануне.

VI

Реализм Чехова неразрывен с его вниманием и любовью к жизни, с его социальным оптимизмом. Символичны слова из «Стены»: «Крест у дороги, темные топки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, — все это само по себе было так чудесно и странно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью». Чехов был пленен «чудесами» жизни, он подмечал все малейшие детали. И часто эта незаметная простому глазу деталь открывала душу предмету. Он писал к брату Александру (1886): «У тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатила шаром черная тень собаки или волка». Чехов нашел нужную художественную деталь. И эта деталь стоит целых страниц традиционных описаний лунной ночи, таинственного и трепещущего света, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки роля, замирающие в тишине ароматном воздухе».

Чехов говорил, что быть талантливым — значит «уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком» (письмо к А. С. Суворину, 1888 г., 30 мая).

Это чувство «отбора» у Чехова было особенно остро и безошибочно. Через детали и подробности он мог показать все глубины человеческих чувств и мыслей.

Для Чехова жизнь всегда была сказочно бедна, разнообразна и богата. Но сам он был сдержан и бережлив. Его художественному методу несвойственна расточительность. По этой вероятности, эта особенность являлась в какой-то мере следствием его необычайно сдержанной натуры. Непревзойденный, замечательный лаконизм Чехова — самая характерная, существеннейшая черта его художественного метода. Для Чехова «писать коротко» означало писать талантливо. «Будь я миллионер, — говорил он, — я бы писал вещи с ладонь величиной». Он постоянно давал советы писать «немного, но многое», чтоб не было ничего лишнего. «Знаете, — говорил Чехов, — как нужно писать, чтобы вышла хорошая повесть? — В ней не должно быть ничего лишнего. Вот как на военном корабле: там нет ничего лишнего — так следует делать и в рассказе...»

Строгое, бережливое, целомудренное обращение со словом было для Чехова необходимой предпосылкой художественного творчества.

Безответственность, крикливость, претенциозность, всякое неосторожное обращение со словом находили в нем беспощадного врага. Чехов понимал, что лишние слова убивают чувство. Слезы, вздохи, плач, обилие слов, подмена чувства сентиментальностью — была ему оскорбительна. «Когда изображаете горемык и бесталанных, — пишет он писательнице Авиловой, — и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее, это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисовывается рельефнее. А то плач и герои плачут, и вы вздыхаете. Да, будьте холодны».

Здесь под «холодностью» явно подразумевается сдержанность. «Будьте сдержаны, сохраняйте спокойствие и достоинство. Не опьяняйте человеческого страдания охами и вздохами. Не подменяйте чувства сентиментальностью», — вот, как можно расшифровать сдержанность письма к Авиловой.

Чем дальше, тем все строже и строже, все требовательней относился Чехов к самому себе.

В своем постоянном стремлении к сущностному, к изумительной краткости Чехов был

истинным революционером. Он открыл, утвердил новую форму, новую манеру письма, создал и ввел в литературу так называемый «маленький рассказ».

«Вам хорошо — теперешним писателям, — нередко говорил он, — полшутя, полусерьезно: — Вас теперь хвалят за небольшие рассказы. А меня, бывало, ругали за это. Да как ругали! Бывало, коли хочешь быть писателем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить, и слушать не станут, и в хороший журнал не пустят. Это я всем вам стену лбом прошибал для маленьких рассказов» (Н. Телешов — «Встречи с А. П. Чеховым»).

Эти слова Чехова не утратили своей остроты и значимости для нашего времени, для современных писателей.

В этом стремлении к лаконизму, к предельному «отбору» шла Чехову навстречу необычайная его эрудиция. Большую роль, конечно, играли его медицинское образование и знакомство с естественными науками. Но этого мало. Чехов изучал детально всякое явление, с которым он сталкивался, и его жажда знаний была безгранична. Чтобы писать коротко, чтобы «не было ничего лишнего», помимо совершенного художественного зрения надо обладать большими знаниями. Чтобы из множества деталей выбрать существеннейшую, характернейшую, надо знать предмет во всем многообразии его явлений. В рассказе «С ладонь величиной» играет роль не только отбор слов, но малейшая интонация, ударение, даже запятая. Вот почему «знаки пренебрежения и красивые строки у Чехова играли всегда важную роль. Об этом знали все редактора и особенно секретари журнала, где печатался Чехов»¹.

Сочетание таланта с трудом и знанием Чехов считал необходимой предпосылкой искусства. Еще в первые годы своего творческого пути (1881—1882) он писал: «К нашему великому горю наши великие и малые служители муз сильно хромают по части знаний, а знания даются, если верить старым истинам, одним только трудом». Критикуя игру известного в то время исполнителя роли Гамлета (артист Иванов-Козельский), Чехов пишет: «Мало чувствовать и уметь правильно передавать свое чувство, мало быть художником, надо быть еще всесторонне знающим (подчеркнуто мной. — Б. Б.). Образованность необходима для берущегося изображать Гамлета».

В автобиографии Чехова, посланной в 1889 г. Г. И. Россалимо (доктору), читаем: «Знаком-

¹ М. — Л. «А. П. Чехов», «Туркестанские ведомости», 1910 г., № 47.

ство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже и я старался, где было возможно, соотноситься с научными данными, а где невозможно, предпочитал не писать вовсе. Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными, нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, т. е. нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что он имеет дело со сведующим писателем... К беллетристам, относящимся к науке отрицательно, я не принадлежу, и к тем, которые до всего доходят своим умом, не хотел бы принадлежать».

По произведениям Чехова можно изучать парковую Россию.

Люди всех званий, профессий, возрастов во всем многообразии, во всей сложности жизненных конфликтов, трагических и комических, во всей неповторимости характернейших особенностей, отличающих одного человека от другого, — становятся по чеховским рассказам и повестям близкими знакомыми, остаются в памяти навсегда. Такого богатого, разнообразнейшего жизненного материала, пожалуй, не найти ни у кого из великих писателей прошлого.

Изучая, наблюдая явления во всеоружии таланта и знаний, Чехов с предельной честностью творит свой суд над жизнью. «Я никогда не прятался, — пишет Чехов, — если мне симпатична моя героиня Ольга Михайловна, либеральная и бывшая на курсах, то я этого никогда не скрываю».

Чехов — писатель-общественник в полном и самом лучшем смысле этого слова. «Литератор — не кондитер, не косметик, — писал Чехов, — не увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием «своего долга и совестию». Контракт с долгом и совестью был заключен на всю жизнь и выполнялся свято. Каждый новый рассказ был «преднамерен», являлся новым идейным звеном на ступенях познания жизни, овладения самыми насущными проблемами современности.

«Если отрицать в творчестве вопрос и намерение, — писал он, — то нужно признать, что художник творит непреднамеренно, без умысла, под влиянием эффекта; поэтому если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим».

В своей первой, непечатанной пьесе (она

была напечатана Центральным архивом лишь в 1933 г.), не имеющей названия и написанной приблизительно в 1881 г., Чехов клевлет пошлость. Для него уже ясно, что с пошлостью он будет бороться смехом. Одна из героинь пьесы восклицает: «Осмеяли купцов, осмеяли насквозь. Был и смех сквозь слезы, и слезы сквозь смех. Кто же меня осмеет? Когда?»

Спустя восемь лет в рассказе «У знакомых» снова ставится вопрос о борьбе с пошлостью оружием смеха: «Какая польза говорить серьезно или спорить с человеком, который постоянно лжет, много ест, много пьет, тратит много чужих денег и в то же время убежден, что он идеалист и страдалец? Тут имеется дело с глупостью или со старыми дурными привычками, которые крепко въелись в организм, как болезнь, и уже непальцаешь. Во всяком случае негодование и суровые попреки тут бесполезны и скорее нужно смеяться, одна хорошая насмешка сделается гораздо больше, чем десяток проповедей».

Юмор Чехова, возможно, вытекал, отчасти, из общей жизнерадостности его натуры. «Несмотря на болезнь, — пишет Телешов, — Чехов любил всякие шутки, пустячки, приятельские прозвища и вообще был охотником посмеяться». О «громком и ясном смехе» Чехова говорят люди, хорошо его знавшие.

Но «громкий и ясный смех» в столкновении с уродствами жизни утрачивал свою непосредственность и ясность. Он становился все серьезнее, все сложнее, все проникновеннее. В нем все сильнее и сильнее слышится тонкая красота и радости, по жизни справедливая и совершенная. В нем все сильнее чувствуется жалость и сострадательная нежность к человеку. А наряду с жалостью — взрывы гнева, отвращение, возмущение. Самые разнообразнейшие чувства и оттенки чувств найдены в чеховском смехе. Юмор Чехова настолько сложен и необычен, что о нем следовало бы писать большие научные исследования. Юмор Чехова сравнивали со смехом Мопассана, Гюго, Диккенса, Салтыкова. Может быть, но эти сравнения и нужны, чтоб показать, насколько этот юмор своеобразен, неповторим.

Горячее сердце Чехова было могучим конденсатором любви к человечеству. Его произведения учили и учат жить и любить человека, учат ненавидеть пошлость, неверность, лицемерие, подхалимство, двурушничество. Чехов — великий революционер и в искусстве, создатель новых совершенных форм. В своей любви к человеку и ненависти к порокам человечества Чехов близок, сознательно или нет, Горькому.